

С

тиснувши зубы, наглухо затворившись в себе, он с нетерпением ждал, какой билет выкинет ему слепая судьба: поражение, как в один голос твердила ни с того ни с сего озлобленная родня, или, вопреки их здравому смыслу, победу?

А пока заплатил он все долги, экипировался на два года вперед, но остался на прежней, еще офицерской квартире, хотя квартира была для него велика: передняя с отгороженной кухней, просторная комната и две смежные с ней, по правую и по левую руку. Что ему было делать в таких-то теремах одному-одинешеньку? Он бы и съехал без промедления, из экономии, прежде всего, да весь дом принадлежал почт-директору Пряничникову, милейшему человеку, по нынешним временам редчайшему, потому что добрейшему существу, любителю живописи, который смиренно ожидал от жильцов, что где-нибудь там они что-то получают и смогут оплатить за жилье. Поди-ка сыщи во всем Петербурге, городе сплошь и рядом сухом, до крайности меркантильном и жадном, второго подобного благодетеля и чудака!

Как водится, безденежным и бесчиновным он не нужен был никому. Вокруг него в слепой ярости приобретал и служил нелюбимый, неласковый город чужих по духу людей, где на каждом шагу мозолили и резали глаз монументы и венецианские окна единственно тех, кто добросовестно выслужил низкопоклонством и лестью и добродетельно приобрел воровством, и смрадные дыры для тех, кто служил да не выслужил, не имея низости угождать, приобретал, да мало что приобрел, не имея гнусности воровать, и по этой причине должен был ютиться в щели. Но без этого города он не мог, тем не менее, обойтись.

Он тоже спрятался в свою обширную щель на углу Владимирской и Графского переулка. Неприютно было в этой щели. Он вырос в огромной и дружной, как, однако, впоследствии оказалось только по видимости, а на деле несчастливой семье, человек примерно в пятнадцать, считая, конечно, прислугу. Большая семья без происшествий и больших беспо-

койств обитала в двух комнатах, кухне и крохотной детской, и все, как ни странно, уживались друг с другом, искренно уважая, даже крепко любя. Что говорить! Кормилицы, давным-давно выкормивши младенцев у божедомского лекаря, пешком приходили из деревень, обыкновенно по зимам, когда землепашца на срок отпускала работа, и гостевали у бывших хозяев по несколько дней, окруженные вниманием взрослых и обожанием чуть не бесчисленной ребятни.

После приветливой тесноты Божедомки выдерживать полное одиночество ему было куда как несладко. Однако же куда горше была иная беда: никакого романа, конечно, не оказалось. То есть написанного было достаточно много, кое-что из написанного было даже недурно, а романом даже не пахло. Он еще раз пересмотрел Пушкина, Гоголя, он бессонными ночами передумывал их, пока не вывел урок для себя, урок на целую жизнь. Что сделало их гениями на все времена? А вот что: они художнической силой своей отрешились от своей больной, нравственно запустелой среды лишних людей, которые так и не стали европейцами с нашим приносным образованием «чему-нибудь и как-нибудь», но не остались и русскими, а превратились в каких-то уродов, и судили эту среду великим судом народного духа. И он, вслед им, жаждал судить, тоже великим, но высшим и потому беспощадным судом.

С первой минуты несчастье его было в том, что он пришел в мир, где не было ничего святого, ничего, решительно ничего, кроме денег и чина. Впрочем, он тут же нашел, что обязан уточнить обстоятельства. Пожалуй, в первые-то минуты он испытал и приветливость, и тепло, даже видимость счастья дружной семьи, и только минутами вдруг ощущал, как сквозь приветливость и тепло угрюмо и медленно проступало что-то тяжелое, темное, вот как будто собиралась гроза, никуда не спеша, а придет час — соберется и грянет, и развеет в прах и приветливость, и тепло, и семью, и все это в те длинные зимние вечера, когда матушка с батюшкой вслух читали друг другу Карамзина. В большой комнате стояла мертвая тишина. Сальная свечка мерцала треща. В тишине раздавались мерные негромкие голоса. На ковре под ногами у взрослых играли старшие дети в свои тихие детские игры, именно тихие, поскольку уже твердо знали, что по мешать батюшке есть страшный грех. Вот в эти-то часы мира и тишины вдруг взглянешь на их наклоненные к книге резко освещенные лица и вздрогнешь: как могли эти люди встретиться, жить вместе, рожать детей, и жизнь их не превратилась в ад.

Лицо батюшки было правильным, отчасти даже красивым, с широким лбом, еще увеличенным глубоко забирающими залысинами, с небольшим прямым носом, который оканчивался широкими чувственными ноздрями, и с сильным волевым подбородком, еще подчеркнутым высоким воротом белоснежной сорочки, которая была у него неизменной, однако от него так и веяло холодом; небольшие глаза глядели неподвижно, тяжело и презрительно из-под властно и мрачно изогнутых темных бровей; бескровные тонкие губы плотно сжимались и приподнимались в левую сторону навсегда застывшей язвительной полуулыбкой; к ним близко подступали форменные узкие уставом определенные бакенбарды, отчего все лицо становилось недобрым, если не злым: так что не только внимательный чуткий подросток, уже начавший заглядывать под поверхность обыденной жизни, но и самый быстрооглядный прохожий не мог не определить в этом внешне спокойном, всегда приветливом человеке мрачного истязателя и тирана, к тому же на вид он был лет пятидесяти, при

его сорока четырех, свидетельство верное, что его душа уже искривилась и что ей, искривленной душе, не выпрямится уже никогда.

Матушка, напротив, рядом с ним была кротким ангелом, с шелковистыми локонами по невинным, все еще удивительно детским щекам, с тихим задумчивым взглядом красивых добрых ласковых глаз; с хрупкой девической шеей, с неразвитой грудкой подростка, несмотря на столько рожденных детей; с чистым высоким лбом, так прямо и говорившим, что эта женщина хоть и умна, и, может быть, даже очень, очень умна, однако не успела изведать не то что какого-нибудь самого малого зла, а и сколько-нибудь сильной печали, разве что попробовала неопределенной печали полудетских мечтаний; не пролила ни слезинки, разве что светлые слезы над страницами грустных романов или над строфами мрачных баллад. Подросток глядел, глядел и невольно отводил пытливые взоры от мрачного лица истязателя и тирана, которое, тем не менее, было лицом родного отца, благодетеля и несомненного руководителя жизни и с облегчением останавливал их на этом светлом лице, на всем ее хрупком, беззащитном, неприготовленном существе, вызывавшем невольную жалость, которая определилась, осозналась после, потом и только предчувствовалась в его первые годы: погибнет цветок, непременно погибнет, не расцветет.

Кажется, первому эта мысль соединить сурового лекаря с тихой, ласковой души бесприданницей как-то уж очень понравилась, как говорится, к сердцу пришлась ее дяде, Василию Михайловичу Котельницкому, человеку добрейшему и, стало быть, чудаку, это уж всенепременнейше так. Его отец, коллежский регистратор, не более и не менее, известный однако умом и широкой начитанностью, служил корректором в московской типографии духовного ведомства, славной именно тем, что в ней набирались и печатались труды Новикова, масона, будто в духовном ведомстве без масонов и быть не могло. От отца-корректора перенял любознательный Вася благодетельную склонность к наукам, продвинулся много дальше, чем благопримерный родитель, вышел однако не по духовному ведомству и не по масонам, а в профессору по медицинскому факультету, читал студентам о составлении спасительных для организма лекарств, везде появлялся непременно в мундире и треугольной шляпе с плюмажем, за что добродушные студиясы звали его, чуть не в глаза, Петухом. Дядя же, точно стремясь оправдать свое насмешливое прозвание, всходил на кафедру с подобающей важностью. Главное же, не уставал наставлять, что и от лучшего из лекарств очень даже просто может помереть человек, а стало быть, господа, рецептики-то нужно подписывать с осторожностью величайшей, да-с, да-с, господа.

Этой замечательной истины дядя Василий Михайлович и сам придерживался с твердостью необычайной и потому даже в самой крайности не доверял всploшь, по его убеждению, мздоимственным лекарям, может быть, и не даром, а оттого, что печальный опыт имел, изъяснить этот казус иначе невозможно нет. Во всяком случае, стоило кому-нибудь при нем неосторожно похвалить молодого целителя, как он возражал:

— Ну, прежде времени не хвалите. Вот с нами-то как поживет, враз поглупеет, а то, чего доброго, господа, станет подлец.

Неизвестно, отзывался ли он поначалу таким же образом о серьезном, набыченном, замкнутом лекаре Достоевском, только Василий Михайлович очень скоро заметил, что этот не поглупел, не оподличал, да, верно, уж и не поглупеет, не оподличает до конца своих дней, а потому, стоило

ему как-нибудь занемочь, он обращался только к нему и советы его исполнял добросовестно, даже по части лекарств, о которых имел, как видно, свое, далеко не лестное мнение.

Сам профессор по каким-то причинам детей не завел, зато у него имелись племянницы, Александра и вот эта Мария, дочери его родной сестры Варвары Михайловны и ее законного мужа Федора Тимофеевича Нечаева, человека в своем роде почти замечательного. Этот Федор Нечаев начал жизнь весьма неприметно в провинциальной глуши, в городишке Боровске, что в Калужской губернии, вдалеке от Москвы. Выходец из посадских людей, лет за двадцать до нашествия преступного Бонапарта, он перебрался в Москву. В Москве, тогда еще Федька, он определился сидельцем в лавку к купцу, выжиге среди прочих выжиг первейшему, на жизнь, надо прямо сказать, почти каторжную, чуть не сибирскую, однако, к удивлению калужской родни, искус унижением чрезвычайным, чрезмерным, издевательством нечеловеческим выдержал стойко, поднабрался деньжонок неизвестного рода, вдруг вышел в купцы третьей гильдии. Завел собственное дело в суконном ряду, стал богатеть, хоть и медленно, зато неуклонно, приметно, зажил в собственном доме, да проклятый Бонапарт подрезал Федора Тимофеевича прямо под корень. Он все, или почти все, потерял при пожаре Москвы. Кое-какие крохи, конечно, остались, но тут, год спустя, жена его померла. Он еще продолжал жить в собственном доме, только к прежнему суконному делу не возвратился, а женился вторым браком на Ольге Яковлевне, почти ровеснице его старшей дочери Александре. Александру, собравшись с последними силами, он выдал, понятно, с сильным приданым, за Александра Куманина, из богатейших московских купцов, кулака первой заделки и первой статьи, какие первыми стали попадаться тогда. А уж за младшей, Марией, дать не мог ничего.

Профессор Котельницкий и привязался всем сердцем к этой Марии, почти, вышло так, сироте, баловал ее, сколько мог, пестовал, озаботился ее воспитанием, совсем не купеческим, с уроками музыки, танцев, полагая, должно быть, что без музыки, танцев дочь купца так-таки и не сможет прожить, зато открыл ей несказанное счастье общения с книгой, сам вслух декламировал ей оды Державина во весь глас, только что не распевал баллады Жуковского и уж было принялся знакомить с некоторыми шедеврами юного Пушкина, когда неприметно подкралась пора выдавать бесприданницу замуж.

Известное дело, будь хоть трижды красавицей и разумницей, а без приданого в здешнем мире пристойного мужа трудно найти. Вот тут Василий Михайлович и попригляделся попристальней к одинокому, замкнутому Михаилу Андреевичу, у которого как раз лечил свой застарелый гастрит — нередкую награду холостяка. Выходило по наблюдениям, что человек небогатый, однако серьезный, ответственный, прилежный в исполнении должности, которая одна кормила его. Стало быть, с таким человеком племяннице, натурально, будет весьма далеко до старшей сестры, которая за Куманиным как сыр в масле каталась, но и с голоду не помрет, хлеб и почтенный достаток муж этого склада всегда добудет себе и жене, мозоли до крови натрет, а добудет.

Что ж, Василий Михайлович пригляделся поглубже. К своему удивлению, обнаружились кое-какие следы родословной, даже уходившей корнями в толщу веков. Выходило, что его род, ныне абсолютно затерянный, неизвестный, восходил еще к Даниле Иванычу Ртищеву, который

тем отличился в русских юго-западных землях, что отстаивал православную веру от преследования ее подлым и чересчур уж воинственным католичеством. Одному из его-то служивых людей пинский князь Федор Иванович, из Ярославичей, в начале шестнадцатого столетия, дал за верность и доблесть жалованную грамоту на имение Полкотичи и часть сельца Достоево, что в Пинском повете, к северо-востоку от самого Пинска, в междуречье Пины и Яцольды. Тогда-то от названия сельца и пошли Достоевские.

Эти Достоевские очень скоро заявили о себе по округе как люди пылкие, неукротимые, властные, способные даже на преступление. В старинных писаных книгах как будто даже находилось судное дело конца того же столетия, по которому проходила Мария Стефановна Достоевская, обвиненная в убийстве своего мужа Станислава Карловича, в покушении на убийство своего пасынка Кристофа Карловича и в составлении подложного завещания, для каковых преступлений привлекла наемного человека по имени Ян Тур, неизвестного рода и племени. Из этого дела можно было понять, что несчастная приговорена была к смертной казни, тем не менее, король по каким-то от общественности скрытым причинам нашел возможным отсрочить ее, и из судного дела не видно, приведен ли был когда-нибудь приговор суда в исполнение, а если и нет, так спас не король, а Христос.

В то же приблизительно время другой Достоевский, Федор, землевладелец, переселился за Волинь из Пинского повета, где сблизился с беглым московским князем Андреем Курбским, супротивником грозного царя Иоанна, сошелся так, что везде и всюду неуживчивый князь считал его своим уполномоченным по тайным козням против Москвы и даже чуть ли не приятелем, хотя перебежчикам мало веры, еще меньше счастья дается на русской земле.

Род ветвился и множился. В середине семнадцатого века Филипп Достоевский служил в литовской дружине и был обвинен в разграблении имущества старосты Речицкого и в нанесении побоев его холопам, что в войнах того времени было делом обычным. Тогда же, по всей вероятности, от общего корня отделилась ветвь Достоевских подольских, уже прямых предков Михаила Андреевича. Среди них обнаруживались люди самого разного свойства и толка. Были тут и суровые служители русской церкви, гонимой в той стороне, и крутые своенравные воины католических польских и литовских дружин. Некоторые из них, понятное дело, перешли в католичество, получили за верную службу шляхетство, служили польским королям и даже участвовали в избрании на трон Яна Казимира, Михаила Вишневецкого и Августа II Саксонского, Сильного, предателя, союзника и друга Петра.

Все-таки большая часть Достоевских осталась русскими и сберегла в чистоте свою исконную православную веру. Акиндия Достоевского удалось обнаружить среди иеромонахов Киево-Печерской лавры. Еще один Достоевский достиг сана епископа. Еще один оказался в турецком плену, однако воротился на родину и в честь своего чудесного возвращения повесил серебряные цепи перед иконой Богоматери в польском по тому времени Львове.

Стало быть, в семнадцатом веке у Достоевских бывали и большие карьеры, и водилось довольно золота и серебра. Только в восемнадцатом веке род захудал, может быть, потому, что православным людям не было дороги в юго-западных землях, окончательно подпавших под власть ка-

толичества. Андрея Михайловича уже с трудом удалось обнаружить скромным протоиереем в захолустном городишке Брацлаве, все в той же знакомой Подольской губернии. Один из его сыновей служил в сельской церкви на скудном жаловании в бедном приходе. Из шести его дочерей трем, скорее по традиции, чем по велению сердца, суждено было стать деревенскими попадьями, а три другие вышли замуж за мелких малороссийских чиновников уже при Потемкине.

Та же заурядная участь ждала и Михаила Андреевича. Он был помещен в Каменец-Подольскую семинарию, и быть бы ему, без сомнения, деревенским попом, если бы не указы императоров Павла Петровича и его странного сына Александра Павловича, которыми наиболее способные семинаристы определялись на казенный кошт в медико-хирургические академии обеих столиц. Михаилу Андреевичу, успевшему выказать свои дарования, суждено было попасть в число этих избранных.

Что говорить, суровым, устеленным терниями был его путь. После сытости, тепла и уюта отцовского дома довелось ему изведать ужасающего семинарского быта с его грубостью, розгами и презрением к человеческой личности. Он попал в другой мир, но и там его ждали холод и голод и непомерная тягость учения. Он не погиб, он все одолел и был выпущен, как и многие его однокашники, лекарем на службу царю и отечеству в полк.

Дядя Василий Михайлович с годами завел на Москве довольно обширные связи, а со связями у нас довольно много можно иметь и довольно много достать, слава Богу, тогда еще не все на свете продавалось за деньги, хотя и тогда подлая мзда была очень и очень в чести. Удалось ему заглянуть и в послужной список примеченного им жениха, в котором обстоятельно, с армейской простотой изъяснялась вся его подноготная, а с ней вся дальнейшая жизнь. Ничего необыкновенного список не содержал, но не содержал и ничего из того, что бы порочило Михаила Андреевича. Список гласил:

«По надобности во врачах во время последней против французов войны командирован г. вице-президентом академии в московскую Головинскую госпиталь для пользования больных и раненых 15 августа 1812 г. Потом в Касимовский военно-временный госпиталь, откуда получил похвальный аттестат 1 сентября 1812 г. Потом командирован им же вице-президентом Московской губернии в Верецкий уезд для прекращения свирепствовавшей там повальной болезни и за что имеет тоже похвальный аттестат. Лекарем 1-го отделения произведен 5 августа 1813 г. В Бородинский пехотный полк поступил 1 сентября 1813 г. За выслугу законных лет медицинским департаментом военного министерства удостоен звания штаб-лекаря в означенном полку со старшинством 5 августа 1816 г. По предписанию медицинского департамента, во уважение ревностной службы его, помещен в оном же полку на оклад 1-го класса с жалованьем по 500 рублей в год 20 октября 1816 г. Из оного полка переведен в Московский военный госпиталь ординатором, за усердную службу помещен на оклад старшего лекаря 2-го класса с жалованьем по 600 рублей в год 7 мая 1819 г.»

Совершив все эти открытия, важные для него чрезвычайно, дядя Василий Михайлович представил сестре и ее мужу своего протеже и коллегу по медицинскому поприщу уже не без блеска, описал его достоинства почти теми же яркими красками, какими перед студентами расписывал какое-нибудь клещевинное масло, микстуры и порошки. Правда,

рекомендованный им жених почему-то несколько отпугивал и будущего тестя, и будущую тещу, и в особенности невесту, совсем еще юную, главным образом, конечно, своей суровой наружностью и некоторой надменностью нрава. Им не такого мужа хотелось бы младшенькой дочери, сердечной любимице без исключения всех родных и знакомых, включая прислугу. Они и предпочли бы, очень наверно, для нее иного спутника жизни, кабы не ушло достояние дымом учиненного проклятым Бонапартом пожара. А без достояния об ином-то муже нечего было мечтать. Что было делать? Смирившись перед судьбой, Федор Тимофеевич и Варвара Михайловна дали свое родительское благословение. Мария Федоровна, как водится, им покорилаь. Венчание состоялось, свадьба справилась самая скромная, в самом тесном семейном кругу, и для Михаила Андреевича с Марией Федоровной началась новая жизнь, полная самых ничтожных, самых изнурительных семейных забот и долгое время никем не видимых мук, как ему открылось отчасти впоследствии.

Поначалу из экономии жили при госпитале, жили неловко и беспризорно, как и не могло быть иначе в стенах казенного заведения. Тут приглядеться и присмотреться друг к другу возможности не было. Михаил Андреевич весь день находился на службе. Мария Федоровна скоро после венчания забеременела и тяжело переносила свое положение. Мальчик родился в положенный срок и назван был Михаилом. Оставаться при госпитале стало нельзя. Михаил Андреевич вышел в отставку. Несколько месяцев где-то ютились, с младенцем, без денег, без места, кажется, в наемной квартире где-то в Басманной, в которую из собственного дома к тому времени переселился Федор Тимофеевич, тесть. Понятное дело, тестю в глаза глядеть было совестно: нахлебник, жилец.

Кажется, именно в те мрачные, беспросветные дни Михаил Андреевич с пылом, для нее неожиданным, и поклялся юной жене, что последние силы отдаст, пробьется и выбьется, и не только прокормит и обеспечит семью, но и восстановит честь так несчастно, под ударами рока затертого рода и детей своих — это всенепременно, всенепременно, помни и верь! — выведет в потомственное дворянство, в помещики настоящие, как надлежит. Мария Федоровна была прекрасна не только лицом. Она была редкая птица, энтузиастка, мечтательница, с благородной душой, с потребностью жертвы во имя чего-то большого и светлого, даже прямо святого. Она увидела в своем муже чуть ли не гения, конечно, непонятого, неоцененного, героя великой войны, походов и битв, славы Бородина, переее всего. Она тогда же полюбила его самой чистой, самой преданной, самой честной любовью щедрого сердца, преданной, прежде всего, преданной до последнего вздоха. Она стала молчаливой опорой его, как выяснилось впоследствии, непрочной души.

Сам ли по себе, ободренный ли ее полным доверием, но он свое слово очень скоро сдержал. Это невыносимое положение длилось недолго. Слава Богу, вышло место лекаря женского отделения в Мариинской больнице, на Boжедомке, место неказистое, бедное, всего в шестьсот рублей ежегодного содержания, да и то досталось ему по протекции, через того же Василия Михайловича, дядю, который благословил и сосватал его.

Эта больница учредилась попечением Марии Федоровны, вдовы убиенного императора Павла Петровича, в 1803 году. Boжедомка была выбрана, надо думать, именно потому, что располагалась на самой окраине, среди огородов и пустырей, так что строить можно было широко и привольно. Строительство, по проекту Михайлова, велось между женскими

институтом: Екатеринбургским и Александровским, неподалеку от Марьиной рощи. Здание пострадало во время пожара Москвы, учиненного мародерами просвещенной Европы, и было перестроено под руководством Жилярди.

Здание получилось внушительным, украшенным колоннадой, во вкусе тогдашнего подражания итальянской архитектуре, как будто несколько лишней для скорбного места. Его окружали многочисленные служебные помещения, дворы, чистый и черный, и обширный сад для прогулок больных. С двух его сторон были пристроены флигеля, в которых отводились квартиры семьям постоянных врачей.

Сама лично вдовствующая императрица, понятное дело, не могла принимать участие в управлении. Все ее пожелания и поручения исполнялись безукоризненно и безотказно почетным опекуном, на должность которого в те времена определен был некто Муханов. Дело заведено было так, что без переписки его с ней и ее с ним ничего не решалось. В заведение, учрежденное столь высоким лицом, каждый служитель отбирался с особым пристрастием. Претендент на должность, будь то должность сиделки или врача, должен был представить гарантии благонамеренности, верноподданности, строгой честности и нравственной жизни. Стало быть, без влиятельных связей, без важных протекций ни одна вакансия заполнена быть не могла.

Рекомендации были даны. Не обошлось это дело, конечно, не только без яды, как-никак декана медицинского факультета, но и не без влияния и больших денег Куманиных, родственников его по жене. Рекомендации удостоверили все, что нужно было удостоверить. Прошение на имя учредительницы высочайшего ранга было отправлено. Ответ был получен, по счастью, ответ положительный. Мало сказать, что Михаил Андреевич был этому рад. Он был не только рад, но и горд чрезвычайно, хоть протекции не любил, сам пробиваться хотел и привык.

И как ему было не радоваться: угол свой, свой кусок. Квартиру отвели в правом флигеле. Он с поспешностью самолюбивого человека, который не любил одолжаться и стеснять никого, перевез сюда супругу с младенцем в наемной карете. За каретой ломовой извозчик переправил неказистую мебель военного лекаря и старомодные достатки разорившегося купца, которые сумел дать в приданое дочери Федор Тимофеевич, нунывающий человек.

Во флигеле семья получила две комнаты. Военному лекарю, ютившемуся Бог знает где, в полевых госпиталях и палатках, они показались большими, тогда как Мария Федоровна, которая все-таки видала кое-что и получше, находила их только сносными, однако верила свято, что они заслужат непрестанным трудом и очень скоро поднимутся выше, как Михаил Андреевич этого страстно хотел. На радостях супруги не спорили, хорош ли, плох ли их новый дом, и начали, она с христианским терпением, он с давно сжигавшей его жаждой подняться как можно выше наверх, свою, самостоятельную, отдельную жизнь.

Он, в самом деле, уже тогда начал гордиться собой. Наконец-то обрел он собственный дом, пусть казенный, да все-таки свой. В этом доме он был полный, неурезанный, беспрекословный хозяин. Михаил Андреевич этим обстоятельством до чрезвычайности дорожил, в особенности тем, что был самый полный, неурезанный, беспрекословный хозяин. В своем доме с первого дня завел он непреклонный порядок, без какой правильной жизни себе представить не мог.

По обстоятельствам службы ему приходилось очень рано вставать, и вместе с ним был обязан подниматься весь дом. Просыпался он в шесть часов, ни раньше, ни позже, так положил он за правило, а правило для него было все равно что закон. Он никому ни слова не говорил, не производил даже малейшего шума, но все почему-то знали об этом и бывали уже на ногах. Около часу уходило у него на утренний туалет.

В начале восьмого он долгом почитал быть в отделении, или в палате, как выражались в те времена. Делал обход лежачим больным. Принимал проходящих, которые давно ожидали его. В подробности о тамошних делах с домашними никогда не входил, будучи убежден, что только так и должны вестись исключительно его мужские дела.

В девять часов, большей частью минута в минуту, он возвращался домой, выпивал стакан чаю с кренделем, которые к тому времени испекала кухарка, и отправлялся к частным больным, не иначе, как в собственном экипаже на собственных лошадях, это для него тоже было закон. Догадаться, конечно, было нетрудно, что экипаж и лошади дались ему с величайшим, самым крайним трудом. Он шел перед тем на большие лишения, экономил на всем, каждую копейку берег, унизился до того, что взял взаймы у богатой родни, и это несмотря даже на то, что одолжаться ни у кого не любил, в особенности не терпел зависеть хоть в чем-нибудь от богатых, благополучных, уважаемых родственников жены. В его глазах это был грех, чуть ли не хуже греха, а он к грехам относился с презрением. И все-таки он на это пошел, хотя этого себе никогда не прощал. Все-таки экипаж и лошади оказались сильнее греха. Он себе и представить не мог, чтобы к больным, людям обыкновенно богатым и важным, он мог позволить себе приходиться пешим порядком или приезжать на извозчике.

Он обыкновенно возвращался с практики около полудня. В первом часу непременно подавался обед, что являлось тоже законом, которого никто из домашних и мысли не имел преступить. Обедали просто, но сытно. Исключения дозволялись только на масленицу, когда в десятом часу накрывали на стол и к его приходу подавали блины, и тогда уже обедали только в четвертом часу, опять же обязательно чем-нибудь рыбным.

Тотчас после обеда он уходил в спальную комнату, облачался в халат, ложился отдохнуть, прикорнуть, но не на большую супружескую кровать, а на диван, на который была брошена только подушка, и спал часа полтора. Все это время двери из залы были плотно закрыты. В зале царил мертвая тишина. Семейство молчало, а если говорило, то слабым шепотом, от всего сердца почитая своей священной обязанностью охранять покой и сон его главы и кормильца.

Сон его освежал. Он часу в четвертом пил чай, непременно вместе с семейством, и это было законом. После чаю он возвращался в палату и выходил из нее часа через два-три, опять подав тщательную, обдуманную, неторопливую помощь всем лежащим и всем проходящим больным, что считал исполнением долга, от которого не мог отступить, и презирал каждого, кто такие отступления себе позволял.

Обычно он еще закрывался в той же спальне с листами больных и только после этого выходил в общую залу, которая на этот случай превращалась в гостиную. Две сальные свечки освещали ее, большее число свечей им считалось неоправданной роскошью. Эти вечера проходили разумно и скромно. Большей частью он читал что-нибудь вслух, но только жене, и спокойно, негромко обсуждал с ней то, что только что прочитал. Во все

время чтения дети играли тут же в гостиной. Они не обязаны были слушать чтение взрослых, но обязаны были соблюдать строжайшую тишину.

Ужин накрывался в девятом часу. Все семейство ужинало, как и обещало, вместе. После ужина дети читали молитву, прощались с родителями и мирно отходили ко сну. Сам Михаил Андреевич с Марией Федоровной ложились сразу же после них.

Уставал он, конечно, ужасно. Порой до полного истощения сил и, случалось, в постель валялся без чувств. Только виду не подавал. Во всем необъятная гордость была у него первый, самый важный предмет. Гордость руководила им на каждом шагу, деспотически, неотвратимо руководила, так что он ей, и только ей, покорялся во всем.

Взять хоть гостей. Лично он ни в ком не нуждался и посторонних в дом пускать не хотел. А было нельзя. Могли разговоры пойти. Догадки бы завелись, непременно нелепые, нелестные для него. Обвинили бы в чем-нибудь неприличном, зазорном. В нелюдимости, в скупости, в гордыне прежде всего, чего потерпеть он не мог. Так что приходилось принимать и гостей.

Первым долгом почитал он приглашать к себе кое-кого из коллег, именно тех, кого не приглашать никак уж было нельзя. Главным доктором Мариинской больницы служил Александр Андреевич Рихтер. Зазывал он его к себе и супругу его, правду сказать, только по праздникам, уж больно тот изображал из себя большого начальника. Верно, из этого чувства, развитого в нем чрезвычайно, Александр Андреевич никогда не бывал у своего подчиненного запросто, только в дни именин Михаила Андреевича почитал своим долгом провести с ним вечер, но не более часа, после которого поздравлял еще раз, раскланивался и уходил. Его супруга вела себя чуть ли еще не важнее и до крайности редко менялась визитами с Марией Федоровной, которая тоже лишь по большим праздникам из чувства приличия навещала ее.

Другим, старейшим по возрасту, лет уж тридцать на службе, тоже довольно вельможный, был Кузьма Алексеич Щуровский, а потому изволил посещать нового доктора единственно по утрам, а по вечерам в единственный день именин. Зато супруга его Аграфена Степановна, свояченица Марья Степановна и дочь его Лизавета Кузьминична, старая дева, лет сорока, любительница нюхать табак, бывали у Марии Федоровны по утрам, приблизительно, как когда, от одиннадцати до часу дня, просиживали все это время за чашкой кофе и занимали друг друга живыми беседами о ценах на говядину, телятину, потом на сахар и ситцы и на другие материи, после чего непременно и с особенным увлечением переходили на покрои платьев и переменчивость мод. К ним обыкновенно присоединялись Мавра Феликсовна, супруга аптекаря, и две ее взрослых дочери, тоже любительницы потолковать о том да о сем, а более ни о чем, и Екатерина Алексеевна, урожденная Гарднер, супруга Альфонского, вскоре из больницы перешедшего профессором университета по медицинскому факультету, Марии Федоровны единственная и, кажется, искренняя подруга. Доктор Щуровский имел еще двоих сыновей. Старший был уже врач, служил в Мариинской больнице сверх штата, с нетерпением нескрываемым ожидал отставки отца, чтобы по праву преемства поскорее занять его место, и у доктора Достоевского бывать с визитами долгом своим пока не считал. Младший уже поступил на воспитание в Московский университетский пансион, гордость Москвы, впрочем, более уже по преданию, и даже на детей Михаила Андреевича глядел свысока.

Все это были утренние гости Мариин Федоровны, которые никогда не появлялись по вечерам. Собственно же гостем самого Михаила Андреевича бывал один Федор Антонович Маркус, эконоом при больнице, родной брат известного медика при царском дворе. Его квартира была прямо над Достоевскими. Казалось, такое соседство уже само по себе обязывало к сближению более тесному. Главное же, человек он был симпатичнейший, любезнейший, готовый к услугам и замечательный говорун. Нередко он заглядывал на минутку, сообщал новость, что-нибудь по работе или внезапную мысль, чуть ли не пришедшую к нему на пороге, и развивал ее так красиво, с таким увлечением, что не заслушаться его было нельзя, и Михаил Андреевич, молчун и гордец, заслушивался его, бывало, по целым часам.

Особенное отношение у него установилось к родне. Своей родни он не знал, да и знать не хотел. Оставалась родня жены, довольно обширная и, главное для него, значительно обгонявшая его своим положением в обществе и своим состоянием, что, как известно, хуже всего. Всем им он был хоть чем-то обязан, а он обязанным быть никому не хотел, не любил, совестился и страдал даже при одном имени их, однако же всех приглашал безотказно, иногда бывал и у них. И Мариин Федоровне не запрещал принимать и бывать, стало быть, в душе его ад бушевал, почти беспрестанно, поскольку в их купеческой и московской среде родственные чувства ценились и ставились высоко.

Так и текла его жизнь, изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Это, в его понимании, было неперменным условием семейного счастья. И был бы он счастлив, как полагается трудолюбивому мужу с доброй верной женой и детьми, если бы его не точила тяжелая, разъедающая душу идея. Она не была его личным изобретением. Это была общая идея того круга, к которому он принадлежал по рождению и в котором принужден был вращаться точно по приговору суда. Он жаждал как можно скорей с этим кругом расстаться и выйти в лучшие люди, то есть в люди чиновные, в люди богатые, уважаемые, даже чтимые по богатству и чину.

А потому жизнь его была сплошной мукой. Он был унижен, причем в собственных глазах был унижен, в обществе богатой родни, в особенности среди богатых и чиновных своих пациентов, которые смотрели на него не более как на слугу и которым он и нужен-то был только в качестве слуги и на время, пока их томил действительный или мнимый недуг. Не стало недуга — ему совали в руку конверт и выпроваживали за дверь, чтобы никогда или до нового недуга не пускать на порог, при встрече не узнать, не раскланяться, руки не подать.

Какими путями мог он выбиться в эти лучшие люди? В сущности, таких путей не было перед ним. Человек он был образованный, умный, не мог не сознавать безысходности унижительного своего положения и глубоко, до боли, чуть не до крику его сознавал и страдал нестерпимо, молча, мужественно, правду сказать, только все больше и больше замыкался в себе.

Впрочем, небольшая тропинка все же была, исхоженная, истоптанная не одним поколением, даже кое-кто по ней доходил до вершин. Тропинку для беспородного люда придумал и учредил государь Петр Великий, за что вся толпа униженных и оскорбленных беспородных людей всем сердцем почитала, а подчас и прямо любила его. Разумеется, Михаил Андреевич был среди них. Он почитал самый институт императорской власти, ибо одна она только имела полное и абсолютно законное

право вдруг, по прихоти или в награждение заслуг, пожаловать ему чин генерала и тем вывести в люди, а Бог даст — и возвысит его над людьми. Неудивительно, что он неукоснительно следовал всем ее предписаниям, даже в мыслях никогда не осуждая ничего из того, что государь император изволял своим подданным предписать. Он добросовестно тянул свою ляжку и нервно, в нетерпении ждал, когда же верховная власть отметит его за усердие. А власть не спешила. Очень медленно, только в положенный, законом отмеренный срок получал Михаил Андреевич прибавку к жалованью, чины и ордена. Лишь четыре года спустя после определения на службу в больницу для бедных, второго апреля 1825 года, его удостоили орденом св. Анны III степени, лишь еще два года спустя его наградили коллежским асессором, что, к его вящему торжеству, дает ему право на потомственное дворянство, как он и поклялся Марии Федоровне в первые дни их совместного бытия, и двадцать восьмого июня 1828 года Московское дворянское собрание записывает семью Достоевских в третью часть родословной книги московского потомственного дворянства, а в январе 1829 года его пожаловали кавалером ордена св. Владимира 4-й степени.

Да, торжество его оказалось недолгим. Для человека его склада характера и ума это была всего лишь нижняя ступенька той лестницы, по которой он мечтал взобраться до самого верха. Не успел он привыкнуть к мысли, что отныне он потомственный дворянин, как уже новая горечь точила, истязала его. В самом деле, какой же он дворянин? Он только что сводит концы с концами, только что не обрекает семейство на ощутительные лишения, тогда как истинные дворяне, тем более аристократы известных фамилий, порой и менее древних, чем Достоевские, владеют тысячами десятин и тысячами рабов, которые беспрекословно служат им, как и подобает рабам. А у него казенная квартира в две комнаты с прихожей и кухней, а кроме нее ни кола ни двора. Как тут не налечь на душу черной тоске. И тоска налегает. И самой настоящей стала мечта тоже владеть — землей и рабами, хоть плевенькое поместьишко, а все же купить, себе на радость, детям в наследство, прочему люду в предмет уважения. Мечта как будто могла бы осуществиться проще простого, ведь российское столбовое дворянство, погрознув в тунеядстве и безделье почти беспредельном, скудеет день ото дня, залезает в долги, подчас неплатные, беспредельные, порой прямо постыдные, и распродает наследственное свое достояние чуть ли не за гроши. Иди, покупай. Он бы и рад, только нет у него ни лишних, ни свободных грошей.

Если что и радовало его, так это дети, и дети являлись на свет один за другим. Он не знал, куда деваться от счастья, он в пять часов утра будил старших детей и, весь сияя, радостно сообщал, что отныне у них еще братец или сестрица, и вел их тут же глядеть на сморщенное личико в белоснежных пеленках. Он расцветал — на несколько дней. А там новая змея без усталости жалила его отцовское сердце. Младенец помещался в спальне вместе с родителями. Старшим там уже не было места, а в казенной квартире кроме спальни всего лишь гостиная. Он бы поместил их и в гостиной, да это был бы уже нестерпимый позор, жить без гостиной порядочному человеку нельзя, а он при любых обстоятельствах должен был оставаться порядочным человеком и в глазах любого другого, пусть даже самого постороннего человека, и в своих собственных. И для старших детей наскоро отделили тонкой перегородкой угол в передней, не до самого верху, конечно, чтобы хоть немного проникали воздух и свет, нечто

похоже на платяной шкаф в бедной, но не совсем бедной семье, в котором едва умещается одна небольшая кровать на двоих. Каково такое убожество отцовскому сердцу, которое так страстно, впрочем, тайно и молча, любит детей? Нестерпимая боль. Боль становилась еще нестерпимее, когда дети росли, а дети, как известно, растут быстро, до неожиданности. Глядя на них, Михаил Андреевич беспрестанно горел от стыда. Он отец, он обязан оставить им хоть что-нибудь, хотя бы на первое время, пока не встанут на ноги, не смогут обеспечить себя, а что он оставит и, стало быть, что же он за отец?

Его дети — его вечная мука и вечный укор. Все они, кроме первенца, появились на свет при больнице для бедных, а ведь это проклятие, нестерпимый позор, вероятней всего, и пророчество, против которого он мог чувствовать себя только мошкой, не больше того.

И на такое-то истерзанное вечными муками самолюбие вдруг упала беда. В сущности-то случилось обычное дело. Близь их деревни явился богатый сосед, сосед как сосед, кроме богатства, кажется, и не было ничего. Впрочем, с большими амбициями, с жадной себя показать. А как показать? Прием у богатых на это простой: закатил пир на весь этот маленький мир и зазвал всю округу к себе. Матушка имела слабость принять приглашение и сама же, невинная, как ангелица, описала батюшке праздник. У батюшки, надо думать, душа разорвалась от боли. Страсть закипела. Матушка, в его глазах, явилась повинной во всех смертных грехах. В один миг между ними пробежала черная кошка. Он осыпал ее градом самых гнусных упреков. Она попыталась перед ним оправдаться, едва ли понимая, в чем ее грех. По прошествии времени в его руки попали их письма. Они часто писали друг другу, когда она уезжала в деревню с детьми, тогда как его цепи службы держали в Москве. Он плакал над этими письмами. И как ему было не плакать.

«Клянусь тебе, друг мой, самим Богом, небом и землею, детьми моими и всем моим счастьем и жизнью моею, что никогда не была и не буду преступницею сердечной клятвы моей, данной тебе, другу милому, единственному моему, перед святым алтарем в день нашего брака, Клянусь также, что и теперешняя моя беременность есть седьмой крепчайший узел взаимной любви нашей с моей стороны — любви чистой, священной, непорочной и страстной, неизменной от самого брака нашего. Прощай, друг мой, не могу писать более и не соберу мыслей в голове моей; прости меня, друг мой, что не скрыла от тебя терзания души моей; не грусти, друг мой, побереги себя для любви моей; что касается до меня, повелевай мною; не только спокойствием — и жизнью моей жертвую для тебя...»

«Я света Божьего не взвидела; нигде не могла найти себе ни места, ни отрады. Три дня я ходила как помешанная. Ах, друг мой, ты не поверишь, как это мучительно. Любви моей не видят, не понимают чувств моих, смотрят на меня с низким подозрением, тогда как я дышу моею любовью. Между тем время и года проходят, морщины и желчь разливаются по лицу, веселость природного характера обращается в грустную меланхолию, и вот удел мой, вот награда непорочной страстной любви моей; и ежели бы не подкрепляла меня чистая моя совесть и надежда на Провидение, то конец судьбы моей самый был бы плачевный. Прости мне, что пишу резкую истину чувств моих. Не клянусь, не ненавижу, а люблю, благодарю тебя и делю с тобой, другом моим единственным, все, что имею на сердце...»

Истины чувств батюшка не увидел. Батюшка поднял камень и бросил его, возомнив себя без греха. Это убило ее. Она слабела, таяла, чахла. Силы оставили ее до того, что она уже не могла расчесать свои густые длинные волосы. На ее лице остались одни большие глаза. Они умоляли. Они просили пощады. Он навсегда запомнил эти полные несчастья глаза. А батюшка что? А батюшка лечил всеми доступными средствами ее брэнное тело, но так и остался непримиримым, жестоким и беспощадным. Она умерла. В тот день он одним разом утратил и мать, и отца. Следом пришла гибель Пушкина. Он тяжело заболел. У него пропал голос. Страшились, что он потеряет рассудок. Доктора ему помочь не смогли и решили, что он должен ехать в столицу, где ему предстояло сдавать вступительные экзамены, что авось дорога его исцелит. Она исцелила. Голос вернулся, но стал очень тихим, порой опускаясь до шепота.

С той жестокой поры он неотступно и зло стал следить за людьми, позабывшими, не хотевшими знать, что был Христос.

И на этом текст обрывается... К сожалению, эта работа Валерия Николаевича Есенкова, в последние годы опубликовавшего в «Подъёме» два своих исследования — «Повесть о молодом Тургеневе» и «Смерть Грозного», — оказалась последней. В апреле 2020 года Валерия Николаевича не стало...